

Кэндзабуро Оэ

б и б л и о т е к а  к л а с с и к и

Кэндзабуро Оэ

大江 健三郎



Опоздавшая молодежь
Вырывай ростки,
истребляй детенышей



Издательство АСТ
Москва

УДК 821.521-31
ББК 84(5Япо)-44
О-97

Серия «Библиотека классики»

Kenzaburo Oe
OKURETE KITA SEINEN
MEMUSHIRI KOUCHI

Перевод с японского
В. Гривнина («Опоздавшая молодежь»),
Е. Рябовой («Вырывай ростки, истребляй детенышей»)

Серийное оформление и дизайн обложки *В. Воронина*

Печатается с разрешения Kenzaburo Oe Estate
и The Wylie Agency (UK) Ltd.

Оэ, Кэндзабуро.

О-97 Опоздавшая молодежь. Вырывай ростки, истребляй детенышей : [романы] / Кэндзабуро Оэ ; [перевод с японского В. Гривнина, Е. Рябовой]. — Москва : Издательство АСТ, 2026. — 576 с. — (Библиотека классики).

ISBN 978-5-17-192197-2

«Опоздавшая молодежь». Как и все его сверстники, главный герой романа «Опоздавшая молодежь» воспитывался с мыслью, что священный долг каждого японца — попасть на войну и умереть за императора. Но к тому моменту, как главный герой повзрослел, война закончилась, Япония проиграла, а император отрекся от божественного статуса. И теперь поколению, которое опоздало умереть, предстоит научиться жить с чувством стыда от невыполненного долга перед родиной, искать собственный путь в мире, где нравственные ориентиры размылись, а прежние идеалы канули в Лету. Но как избежать полного краха надежд, если окружающими правят безразличие, безответственность и нигилизм?

«Вырывай ростки, истребляй детенышей». В самом конце Второй мировой войны японское правительство эвакуирует группу трудных подростков в отдаленную горную деревню. Там ребята постоянно подвергаются насмешкам со стороны деревенских и выполняют самую тяжелую физическую работу. Когда в округе вспыхивает эпидемия, местные жители сбегают в соседние поселения, бросая подростков на произвол судьбы. Оставшись одни, они пытаются выжить и построить собственное общество, но уцелели ли их надежды в столкновении с суровой и жестокой реальностью?

УДК 821.521-31
ББК 84(5Япо)-44

© Kenzaburo Oe, 1958, 1962
© Перевод. В. Гривнин, наследники, 2025
© Перевод. Е. Рябова, 2025
© Издание на русском языке AST Publishers, 2026



Опоздавшая молодежь



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Лето 1945 года. Деревня

Глава 1

— Я не смогу этого сделать, — сказал я. — Я ведь не ребенок и не птица.

У.Х. Оден

Ты каждый день опаздываешь. И нечего на меня коситься! — сказала учительница. — А ведь еще недавно ты был самым лучшим учеником среди шестиклассников нашей школы, был настоящим маленьким гражданином.

А я и не косился на нее, просто правый глаз у меня косит. Я опускаю голову. Потом краешком глаза смотрю на залитую солнцем маленькую спортивную площадку.

— Ты что-то скрываешь. Признайся, в чем дело. И попробуй только не сказать... — Хлоп. Правая щека вспыхивает огнем.

Я быстро поднимаю глаза и смотрю на толстое и красное, в капельках пота лицо учительницы. Чувствую, что она колеблется: звать или не звать этого верзилу, помощника директора, чтобы тот наказал меня и силой заставил сознаться во всем. На мои уши набрасываются шершавые, цепкие пальцы и, точно слепни, больно впиваются в них. От неожиданности и боли я пугаюсь, но тут же успокаиваю себя: «Она хочет наказать меня, не прибегая ни к чьей помощи». Лучше уж терпеть боль от нее, чем от этого верзилы, помощника директора. И я начинаю

вопить, будто мне и в самом деле нестерпимо больно. Как кошка, которая мурлычет, когда ее гладят, я, чтобы привести учительницу в хорошее расположение духа, изо всех сил стараюсь показать, что боль мне безразлична.

Когда какое-либо действие учителя не встречает ответной реакции учеников, тот будет снова и снова повторять его, пока не добьется своего. У меня не было никакого желания быть наказанным, если этого можно избежать с помощью простой детской изворотливости. В общем, зря она все это затеяла.

Учительница оставила в покое мои горящие уши и, точно обжегшись кипящей кровью, пульсирующей в них, медленно, будто сжимая в руках по тяжелому камню, опустила руки на толстые выпирающие колени, обтянутые шароварами. Здоровенные, как у мужчины, грязные руки. «Как только вырвусь из класса, сразу же вымою уши под краном».

— Почему, ну почему ты вдруг стал таким плохим мальчиком? Объясни, в чем дело? Что ж, можешь молчать, я и так все прекрасно понимаю.

Перехватывает дыхание, лицо пылает. Внутри все горит, и даже послеполуденный воздух знойного лета несет прохладу. Учительница молчит, молчу и я. Кроме нас двоих, в классе нет никого. С реки сюда — школа стоит на горе — доносятся крики ребят и всплески воды. Ни на спортивной площадке, ни в других классах нет никого. В учительской, через две комнаты от нас, громко кричит радио и стоит гробовое молчание учителей, внимательно слушающих его и ничего не понимающих. От этого в волнении бьется сердце. «Важное сообщение», — так сказал директор школы. Мне кажется, учительница тоже хочет поскорее отделаться от меня, чтобы пойти слушать радио. Если б она это сделала, я бы сразу освободился от овладевшего мной гнетущего чувства.

Хлоп! И снова звенит щека, уши слышат этот звон. Потом боль отдается в голове. Похоже, учительница по-настоящему разозлилась. Выйдя из себя, она в бешенстве кричит писклявым голосом:

— Рассказывай все! И не вздумай ничего скрывать, я и так все знаю. Не хитри, рассказывай все!

«Ну что мне делать? Не могу же я ей все рассказать, — думаю я, глядя, как слеза с моей щеки катится по бороздке, прорезанной в парте перочинным ножом. — Нет, не могу я ей ничего рассказать».

Все началось с того самого дня, как один из курсантов, приехавших в деревню, сказал: «Война кончается. А ты, парень, еще слишком мал и на войну не успеешь!» Раньше, еще до приезда этого злосчастного курсанта, я как-то спросил отца: «Разве я смогу пойти на войну? Я еще совсем маленький и на войну не успею. Я, наверное, опоздаю на войну, а?»

«Не успеешь на войну? Опоздаешь на войну? Почему? Нет, ты не должен опоздать. Война, еще одна война, а потом снова война. Войны не кончаются. Нет, сынок, на войну ты наверняка не опоздаешь. — Так мне говорил отец. — На войну никто не опоздает. Все пойдут на войну, все станут солдатами». Так говорил отец. И у меня было чувство, что так говорили давно, очень, очень давно. Так говорили отцы еще со времен Дзимму, основателя империи. Отцы говорили это сыновьям после Дзимму, в течение многих веков, когда на смену одному императору приходил другой: «Нет, сынок, на войну ты наверняка не опоздаешь. На войну никто не опоздает! Все пойдут на войну, все станут солдатами! Ну, иди, играй, закаляйся. А то наденут на тебя солдатскую форму, а ты вон какой тщедушный». И вот я, чтобы стать сильным солдатом, стать крепким, как все солдаты из нашей деревни, вместо того, чтобы ходить, начал бегать, а во время уборки класса вместо

легких стульев двигал тяжелые столы — так я закалял себя.

В один прекрасный день курсант, приехавший со своими товарищами в нашу деревню на строительство скипидарного завода, курсант не в темно-синей форме с семью пуговицами, как на фотографиях, а в желтой рабочей одежде и выгоревшей военной фуражке, поселял во мне семена тревоги. Война кончается. А ты, парень, еще слишком мал и на войну не успеешь.

— С тех пор как у тебя умер отец, ты стал самым ленивым учеником.

Учительница сказала это тихо и грустно, чуть ли не со слезами в голосе, и в то же время убежденно, всем своим видом показывая, что она отказалась от мысли добиться от меня ответа. Я вздохнул с облегчением. Я спасен. Учительница ничего не знает о беспросветной тревоге, которую поселил в моем сердце курсант. Я раскаиваюсь в том, что опаздываю на уроки, в том, что не смотрю в глаза учительнице. Я вижу себя со стороны, в углу душной комнаты, освещенной послеполуденным солнцем, уже не испытывающим никакой тяжести от присутствия учительницы.

— Бедненький. Бедненький мальчик. После смерти отца ты живешь в каком-то постоянном страхе.

Учительница все говорит и говорит — это целый поток жалостливых слов, мягких, ласкающих душу слов. «Ошибаешься». Но я старательно, так старательно, что даже слезы на глаза навернулись, делаю вид, будто погружаюсь в эту тепловатую водичку сочувствия и ободрения. Потом я начинаю думать о жаре. Утром и то уже было жарко. У меня такая игра — и утром, и в полдень, и после полудня, и совсем к вечеру измерять, как накаляется и остывает летний день. Летний день, обжигающий щеки, как при лихорадке; летний день, палящий подсолнечник и траву под ним, голую красноватую

землю, костлявую спину белесой кошки. Я смотрю на все это, прижавшись щекой к оконному переплету, — вот мои приборы, которыми я измеряю летний день, измеряю высший его взлет в три часа пополудни. Летний день первого разряда, второго разряда; летний день вне разряда, особый, неслыханный в прошлом летний день. Я измеряю его и в соответствии с показаниями своих приборов готовлюсь к послеполуденному времени. Сколько налить воды курам? Нужно ли укрыть травой оцинкованную крышу? Нужно ли оттащить подальше в сарай клетку с кроликами? Стоит ли еще утром нарвать персиков и тут же все съесть? Или, может быть, если они не перезреют, треть оставить на дереве до вечера? Когда все готово, я спускаюсь к реке, по дороге протирая стекло маски, смочив ее росой с полыни. До самого вечера я спасаюсь от летней жары на реке. Голый и мокрый.

Сегодняшний день я еще утром определил как неслыханный в прошлом. А сейчас, во второй половине дня, он достиг апогея и его внешняя оболочка, с трудом сохраняя равновесие, дрожит, готовая взорваться.

— Крепись. Ты не должен падать духом, как не падают духом летчики и солдаты на фронте.

Учительница шепчет слова утешения, наклонив ко мне свое толстое красное лицо, покрытое потом. Меня начинает тошнить — так пахнет у нее изо рта. Я задерживаю дыхание и кошу глаз в сторону, избегая ее взгляда. На белом прямоугольнике спортивной площадки, пустой из-за жары, неожиданно появляются две черные фигуры — они привлекают мое внимание.

Мальчик примерно моего возраста, с трудом кончиками пальцев нажимая на педали старого, похожего на долговязую клячу велосипеда, делает круг за кругом в центре площадки. Движущаяся короткая тень велосипеда горбит прочерченную им колею, точно выгибает

спину неведомый зверь. Нестерпимо жаркий воздух маревом колыхнется над спортивной площадкой, усыпанной мелким гравием. Если долго пристально смотреть, к горлу подступает тошнота. Круг, по которому движется велосипед, все сужается. В центре стоит женщина в соломенной шляпе и полотняном платье, городская женщина, толстая и бесформенная, как бревно, и, изнемогая от жары, присматривает за сыном. Правда, на него она не смотрит, стоит, молча опустив голову, чем-то озабоченная. Эту женщину я уже встречал на почте. Я видел ее, когда однажды зашел купить открытки. Деревенские ребята, переступая с ноги на ногу на солнцепеке, столпились у почты и в восторге молча пялили на нее глаза. В полутемном помещении почты белое полотняное платье казалось особенно ярким. Мать эвакуированного мальчика. Все время, когда говорит с ним, называет себя «мама», «мама». У меня пропала охота покупать открытки. Захотелось избить и деревенских ребят, чтобы не таращили на человека глаза, и этого эвакуированного. А потом женщина повернула к нам скуластое, сплошь поросшее светлым пухом лицо, и все ребята, в том числе и я, пораженные отступили...

Круг, по которому бесшумно крутится велосипед, все сужается и сужается, и наконец до плеча сидящего на нем мальчика дотягивается рука матери. Мальчик слезает с велосипеда. И оба, переговариваясь и толкая велосипед, уходят в сторону колодца.

Радио из учительской кричит все громче, запах от учительницы все нестерпимее. «Мало того что мне приходится выслушивать ее ругань, я должен еще нюхать ее пот».

— Вчера приходила твоя мать, — говорит учительница.

«Ага, вот почему меня оставили сегодня после уроков. Теперь все ясно». Я испытываю огромное облегче-

ние, даже проникаюсь чувством дружбы ко всем людям в мире, исключая американцев и англичан.

— Ты думаешь об отце? — говорит учительница.

— Думаю, — впервые открываю я рот.

Отец говорил: «Все пойдут на войну, все станут солдатами! Ну, иди, играй, закаляйся!» Но сам отец на войну не пошел. Он умер и тем самым лишил себя возможности стать солдатом. Умерев, он лежит сейчас в земле, смешавшись с корнями травы, высохшими трупами червяков и личинок, с бесчисленным множеством старых трупов, холодной галькой, перемываемой грунтовыми водами. Когда началась война, он уже давно был мертв и бессилён помочь мне, покоился в земле. Письма дяди, приходившие с далекого острова Лейте, звали к отцу как к живому человеку — их складывали у алтаря. Дядя — боевой офицер, сражающийся теперь на Сайпане, — сейчас, под вечер, может быть, пишет свое очередное письмо отцу, считая его живым. Наша семья, от горя потеряв жизненные силы и мужество, так и не сообщила дяде о смерти его брата.

— Твоя мать сказала мне, что ни разу не видела во сне отца. Ты знаешь об этом?

— Да, — сказал я.

Отец умер, и его распухшее белое тело лежит в земле, как личинка огромного насекомого. У него просто нет сил послать весточку на землю. Но все-таки, может быть, это неправда, что мать не видит во сне отца? Мать, однажды разозлившись, теперь ненавидит меня! И, может быть, поэтому не говорит мне правду, не рассказывает, что видит во сне отца, зная, как это важно для меня. С тех пор как умер отец, мать возненавидела меня.

— А почему? — допытывается учительница.

— Не знаю.

Она с маху бьет меня по щеке. На этот раз я не могу сдержать стона от настоящей боли.

— Закрой глаза, отвратительный мальчишка, и думай об отце. Закрой глаза и думай о нем три минуты. Следующий раз не будешь говорить: «Не знаю».

Я закрываю глаза. Запах, исходящий от тела учительницы, заполняет весь окружающий мир.

Отец был веселым, добродушным человеком. Вечно он напевал что-нибудь себе под нос, напевал и делал свою работу — увязывал белые кругляки бумажного дерева, их отправляли на бумажную фабрику. Крестьянки, сидя на циновках, тонкими ножами сдирали кору с чурок, потом чурки вымачивали и сушили. Высушенные белые кругляки связывали и складывали штабелями во дворе, там всегда стоял приятный, свежий запах. А содранная черная кора и желтое лыко валялись на земле, источая отвратительный запах гнили.

Я гордился отцом. Отец тихо напевал и делал свое дело. Безразлично напевал, без всякого выражения. Пел, точно презирая песню. Он презирал женщин, пришедших на работу, презирал песню. Он хотел одного — пойти на фронт. И только призывная повестка, которая пришла бы однажды утром, не была бы ему безразлична. Но повестка отцу не пришла. Смерть затянула отца во мрак, как в заячий капкан.

— Ну, хватит! А теперь посмотри мне в глаза. Если у тебя совесть нечиста, ты не сможешь смотреть мне в глаза.

Я стал смотреть в злые, с желтоватыми белками глаза учительницы. В них отразилось мое испуганное лицо.

— Почему ты не звал отца? Если б ты позвал, он не умер бы, к нему, может быть, вернулось бы сознание. Мать на тебя очень сердита за то, что ты не послушал ее.

«Ничего подобного. Даже если б я кричал у него над самым ухом, отец все равно не ожил бы. Это глупое суеверие — думать, что если мальчик будет звать умирающего, тот воскреснет. Отец был без сознания, но

глаза у него были приоткрыты, и казалось, он высматривает что-то, прищурившись, будто смотрит на блестящее облако. Вот почему мать, дядя и соседи думали, что он не умер. Младшая сестра, младший брат, старшая сестра — все вместе, наклонившись к самому уху отца, звали его: „Отец, вернись!“ Все мне говорили, чтобы я тоже звал. „Зови!“ — говорили они. Но я упорно молчал. Мать зло, холодными глазами глянула на меня. И с тех пор она меня ненавидит. Соседи тоже считали меня чудовищем, у которого глаза источают яд. И они отворачивались, чтобы не встречаться со мной взглядом. Я остался один — изгнанный из круга плакавшей навзрыд семьи, изгнанный из круга добросердечных соседей. Потом я стал думать о том, что отец ни за что не оживет, стал думать о призывной повестке, которая так и не пришла отцу».

— Почему ты не звал отца? Хотя сам себе ответь на этот вопрос. Почему? Подумай почему?

Я думал об этом не раз. Даже когда умирал отец, думал: «Мать всю жизнь будет упрекать меня за то, что я не зову отца, брат и сестры тоже... Все отвернутся от меня, если только я не стану звать отца». И все равно я не сделал этого. Кричать в ухо отцу, который ни за что не оживет, в ухо отцу, который уже ничего не слышит, — это похоже на игру, и мне было стыдно. И было стыдно не столько перед живыми, сидевшими при ярком электрическом свете, забыв, что его нужно экономить, до дрожи стыдно перед самим отцом, погружившимся в мир смерти и пристально высматривавшим что-то, было стыдно обращаться с ним как с живым человеком. Отец высматривал что-то. Это что-то — чудовище. Как пожар, огромное багровое чудовище, грохочет и воет в самом обычном доме, так же и смерть — огромное чудовище, и только что умерший, только что начавший спускаться вниз по дороге смерти отец, объятый стра-